

– Эй, борода!

Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистойвой белизной, заметала, на фоне вечернего, темного, с белыми вспышками, завихрениями, зигзагами, кругами, спиральями, неба, затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде башен, столбчатые, реже – кирпичные, чаще – блочные, густо стоящие на пути моем зимнем, дома.

Я с трудом оглянулся – сквозь снег – на незнакомый голос.

(Был конец января. Среди скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, – был мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвященное этой же дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и небесному, стихотворение Дилана Томаса, только речь в нем была об осени валлийской, об октябре. Ну а мой день рождения был – бездомным, в московской, зимней круговерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придется? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но – не на улице. А на улицах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, казалось, он не

затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскреб какие-то деньги и купил на них сигареты, две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось немного мелочи – на автобусы, на метро. Положив покупки в портфель, где лежали книги и рукописи, я побрел по холодной улице, наугад, куда-то вперед. Шел и шел. Впереди забрезжила, сквозь метель, поначалу Пушкинская, с занесенным хлопьями снега, одиноко стоявшим памятником солнцу русской поэзии, площадь. А потом, в просвете случайном посреди пелены снеговой, вдруг разорванной ветром, хлестким, ледяным, – Маяковская, дымная, в едкой мгле сизоватой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдышусь. А потом – что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит – и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мерзнуть. Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашел две копейки в кармане. И зашел в унылую будку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: телефон-автомат. Позвонил. Раздались гудки. А потом я услышал – голос, бесконечно знакомый:

– Але!

Ну конечно же, Толя Зверев!

- Толя, здравствуй!
- Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Ты у Ники. И жду тебя. Поскорей приезжай. Хорэ?
- Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.
- Жду. Хорэ!

Положил я трубку.

И пошел, сквозь метель, вдоль ограды занесенного снегом, безлюдного, словно в спячке, сада «Аквариум», а потом – мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь нахлесты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: коньяк.

- Здравствуй, Толя!
- Здравствуй, Володя! Заходи.

Я зашел в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, теперь-то – согреюсь.

Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:

- Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.

- Здравствуй, Ника!

Зверев сказал мне хриловато:

- Пойдем, пойдем!

Сняв пальто, я зашел в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с артистическим и с богемным уклоном, комнату, очень теплую, где сидели за столом какие-то двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба – с галстуками. Только лица их – я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, лица. И хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразительные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе – половину стакана. Незнакомцы – налили себе водки, в маленькие, с наперсток, рюмки. Ника – себе налила персональный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:

- У Володи – день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, – гениальный, я-то знаю об этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!

Все сидящие за столом, на котором стояло скромное угощение и бутылки с водкой, с винами и с шампанским, оживились – и тут же выпили.

Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка – Ника.

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то еще подешевствовало – но действительно, стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный московский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день – все новые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для богемы у Ники – лафа. Выпить можно. И закупить. Посмотреть картины. Послушать, иногда, стихи. Поболтать – об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бессчетных встреч.

Незнакомцы с Никой – о чем-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться – не стал. Если надо – пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.

Зверев как-то весь посерьезнел, наклонился ко мне – и тихонько, еле слышно, сказал, нет, выдохнул напряженно:

- Она шпионка!
- Кто? – не понял я.

Зверев:

- Ника!
- Почему?
- Зверев, твердо:

- Я знаю!
- Брось!
- Ей-богу! Она работает – ну, на этих, на кагэбэшников.
- Правда?
- Правда!
- Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?
- А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.

Стало как-то не по себе.

Я сказал:

- Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.
- Да оставь ты свое вино! Пригодится еще. Смотри! – Зверев вытащил из-за пазухи фляжку виски. – Давай – из горла!
- Что ж, давай!

Мы со Зверевым – выпили.

Между тем появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоем разговаривали, отпивая по глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.

Сказала нежным голосом Ника:

- Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы – на такси. Подвезем вас куда-нибудь, в нужное место.

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то – и ладно.

И сказал я Нике:

- Поедем. Где-нибудь по дороге – сойду.

Зверев только взглянул на меня – и вздохнул. Ничего не сказал.

Собрались мы быстро. И вышли – прямо в вечер, в снега, в метель.

У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.

Толя Зверев – молчал. Я – молчал. Незнакомцы – молчали. Машина пробиралась сквозь снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.

Так мы ехали долго – молча.

Я потер стекло запотевшее. Посмотрел – вроде что-то знакомое. Преображенская площадь.

Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул – и рывком, стремительно, выскочил из машины.

Я крикнул ему:

– Ты куда?

Он, в ответ мне, крикнул:

– Я к шурина!

И пропал. Растворился в метели.

Незнакомцы – молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:

– А тебе, Володя, куда?

Я ответил ей:

– Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара Рабина.

Незнакомцы – переглянулись.

Ника:

– Ладно. Привет Оскару. До свидания!

– До свидания!

Выбрался я – в метель. Машина – тут же уехала.

Постояв на заснеженной площади, я побрел потихоньку – к Рабину.

Оскар был тогда – под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Еще не уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже, постоянно дежурили какие-то наблюдатели.

Я все это – знал. И все же – не мерзнуть же мне в метели! Оскар – человек хороший, приветливый. Навещу его. Есть в портфеле моем вино. Обогреюсь. Выпьем немного. И, конечно, поговорим. Есть о чем ведь. А там – куда-нибудь доберусь еще. Ночевать, где придется, давно привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоиться. Вон как метет! Ну и снег! Настоящий, январский!..

Шел я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом – я вижу сразу же так отчетливо – этаже – теплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее – к цели!..)

Голос сзади:

– Эй, борода!

Оглянулся я. Позади – обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.

– Эй, ты слышишь? Куда идешь?

Отмахнулся я:

– Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику...

Это – все, что успел я сказать.

Сокрушительной силы удар – получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв сознание.

Сколько было потом ударов, как там били меня – не помню.

Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?

Неужели настала – смерть?..

Я очнулся, когда – не знаю, где – не ведаю, в доме каком-то незнакомом, в гулком подъезде, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проеме.

Почему оказался я здесь?

Кто меня закинул сюда?

Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы – вывернуты. Шапки – нет. Шарфа – тоже нет.

Боль была – действительно адской.

Голова моя – просто раскалывалась.

Все избитое тело – болело.

Надо было – как-то спастись.

Надо было – отсюда выбраться.

Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.

Ниже, ниже. Еще немного.

Вот и дверь подъезда. Открыл ее. Удалось. Хотя и с усилием.

Выполз – в снег. В сугробы. Пополз дальше. Встать я не мог. Все – болело.

Полз я долго. Куда-то. Вперед. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.

Над моей головой разбитой, резко, с визгом затормозив, остановилась какая-то машина. Шофер метнулся из машины – ко мне:

– Что с вами?

Говорить я не мог. Было больно.

Я с трудом прошептал:

– Избили...

– Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?

Дома не было у меня своего. И сказать об этом шоферу я стеснялся. Небось, подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чем?»

Наклонился шофер надо мной, стал меня поднимать:

– Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.

И в глазах его я увидел и участие, и заботу, и немалое сострадание человеческое. И начал под-

ниматься. Шофер помогал мне. Так на фронте, на-
верное, порой помогали друг другу солдаты.

И шофер меня снова спросил:

– Ну, куда вас везти? Говорите!

Говорить было трудно мне. Но сказал я шоферу:

– К Сапгиру!

– Что? Куда? – не понял шофер.

– Отвезите меня к Сапгиру!

– Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так из-
бил?

– Не знаю... Сапгир – друг Рабина.

В моем сознании брезжило лишь это: Рабин – Сап-
гир.

– Довежу. Дорогу покажете?

– Постараюсь.

Шофер помог мне забраться в машину и лечь на
бок за заднем сиденье.

Я сказал:

– Денег нет у меня.

– Да какие там деньги! – шофер отмахнулся. – Вам
надо в больницу!

– Нет, к Сапгиру, – упрямылся я.

– Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?

– Поэт.

– Поэт? Ну а вы?

– Я тоже поэт.

Покачал головой шофер:

– И зачем же так бьют поэтов?

Я ответил ему:

– Не знаю...

Долго ехали мы. Я смотрел, временами, с трудом,
за окошко. Говорил: «Сюда... Вот сюда...»

Наконец добрались мы до дома, где жил тогда
Генрих Сапгир.

Я сказал шоферу:

– Спасибо!

Он ответил:

– Держитесь, поэт. Выздоровливайте скорее. Да,
а как вас зовут?

– Владимир.

– А фамилия ваша?

– Алейников.

– Тот, из СМОГа?

– Именно тот.

– Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй,
десять назад. Вы читали стихи. Хорошие. Толь-
ко были вы – без бороды, молодым совсем. А те-
перь – с бородой. Я люблю стихи. Вы отличный
поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да,
вот это: «Когда в провинции...»

Я продолжил тогда:

– Болеют...

И шофер, вздохнув:

– Тополя...

Я махнул рукой:

– Это – старое...

А шофер сказал:

– Но живет!..

Он помог мне выбраться в ночь из машины. По-
жал я руку моему спасителю. Он, помахав мне рукой,
уехал.

Я стоял во дворе пустынном.

Слава богу, первый этаж. Высоко подниматься не
надо.

Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь
квартиры сапгировской. Поднапрягшись, я позвонил.

Дверь открылась. В проеме дверном появился
Генрих Сапгир.

Он взглянул на меня – и глаза его переполнились
явным ужасом.

– Генрих, здравствуй! – сказал я Сапгиру. – Помоги
мне сейчас. Пожалуйста.

– Что с тобой? – воскликнул Сапгир. – Кто же так
тебя страшно избил?

Я ответил ему:

– Не знаю. Обо всем – попозже, потом...

Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты
я не пошел. Добрался до кухни. И – рухнул там на
пол, навзничь, потеряв сознание вновь.

Сколько так пролежал я – не помню.

Приоткрыл глаза. Посмотрел – да, похоже, утро.
Светло.

Значит, жив я. Действительно, жив!

Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там
говорил обо мне с женой своей, Кирой.

Кира властно сказала Сапгиру:

– Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он
отсюда убирается поскорее!

Так. Понятно. Я лишний здесь.

Что возьмешь с нее? Это ведь – Кира. Наплевать
ей, видимо, нынче на мое состояние. Надо подни-
маться. И встал я на ноги.

В кухню зашел, с десяткой в руке, смущенный
Сапгир:

– Володя, вот – на такси.

– Все я слышал, – сказал я Сапгиру. – Не волнуйся.
Скоро уеду.

Взял десятку. Сказал:

– Верну.

Отмахнулся Генрих:

– Не надо!

Я сказал:

– До свидания, Генрих! За приют, за помощь – спа-
сибо. Постараюсь преодолеть наваждение это.

Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь – отлежусь. Надеюсь, что примут.

И сказал мне Сапгир:

– Держись!

И ответил я:

– Буду держаться!

Дверь открылась. Я вышел – в снег.

И побрел – сквозь сугробы – вперед.

На таксы – кое-как доехал до знакомых. Там – отлежался. Правда, долго пришлось лежать. Сотрясение мозга – не шутка. Да еще такое, устроенное, безусловно, профессионально, без будды, со знанием дела. Должен был я боль – победить.

Победил. Отшумели метели.

Паспорт – новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез, вместе с рукописями моими, вместе с книгами, вместе с портфелем. Шапку – кто-то мне подарил. Шарф нашел я прямо на улице. Голова – болела порой. Очень сильно. Бывали кризисы. Поднималось давление так, что, бывало, хоть криком кричи. Все я вытерпел. Преодолею. Боль. И всю череду бездомниц. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи – нет. Есть – лишь память. И – жизнь. И – речь. Время – вправду материально. Потому что живет в нем – творчество. Может, жречество? Змеборчество. И – огни негасимых свеч.

...В середине семидесятых. Мы – в квартире зверевской, в Свиблове, или в Гиблове, так его Толя называл обычно, и это подтвердилось – в этой квартире он потом, через годы, и умер. Или, может, погиб. Все могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохорился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперед, что с ним все-таки произойдет.

Мы – вдвоем. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного спокойнее!» – приговаривал Зверев частенько. Я – бездомничал. Зверев – маялся, тяготился своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находится боялся один и на улицах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоем, по Москве. Ночевали всегда – где придется. Там, где пустят нас на постой. Я – стихи читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром – снова куда-то ехали или шли. И так – месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, кочевой. А вдвоем – веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое – сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он – художник, я – поэт, надежной была. Мы дружили – как на войне. Шли геройски – сквозь все сражения. Фронт – повсюду был. Приходилось воевать. Он – ки-

стью, я – словом. К неприятностям быть готовым приходилось. К невзгодам. К бедам. И тянулся за нами следом приключений длиннющий шлейф и события, и происшествий непредвиденных. Но вдвоем было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприятельской. Зверев то к чему-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился запах противный. Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся – мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасенного мною вина, половину буханки хлеба.

Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может – из-за пазухи, может – из шкафа, ну а может – и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принес два граненых стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб – нашу с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Закусили хлебом. Потом – закурили, я – сигарету, он – сигару. Стало теплее. За окном шел осенний дождь. Мы курили – и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то придумать. Поискать надежней пристанище. Оставаться здесь нам – опасно.

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные:

– Что потом?

– А потом – зима! Снег выпал, а я взял и выпил! – Зверев шурился на меня, улыбаясь, хитрющий, веселый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бородою: – Вот Дед Мороз!

Я сказал ему:

– Да, похож.

Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:

– Посмотри. Это – ты.

Я взглянул:

– Да, очень похож.

Со стола на мои коленки, покотившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил обратно на стол.

Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это – разглядел. Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы шкафа. В нем висели костюмы, брюки, пижамки, совершенно новые, заграничные сплошь.

Ночевали всегда – где придется. Там, где пустят нас на постой. Я – стихи читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром – снова куда-то ехали или шли. И так – месяцами.

Гардероб у художника был солидным. Все – добротное, про запас, впрок. Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:

– Вот, надень. От Костаки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю.

Вышел я в коридор. Натянул эти брюки прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в комнату:

– Ну, спасибо, Толя. Подходят.

Отмахнулся Зверев:

– Шмотья предостаточно у меня. За картинку мои дают. Я – беру. И ношу. Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.

За стеной раздалось какое-то подозрительное шуршание.

Зверев сразу насторожился:

– Надо сваливать. Поскорее!

Я спросил:

– Почему?

И Зверев мне ответил:

– Везде – враги!

Он достал из шкафа пальто заграничное – и надел его на себя, на грязный пиджак, заграничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, на котором, сверху, лежали, громоздились, до потолка, вперемешку, его работы разных лет. Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось, потом.

Я набросил куртку:

– Пойдем. Но куда? На улице – дождь.

Зверев, кратко:

– Поедем к старухе.

Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиблого дома этого – прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь.

Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашел. Позвонил. И сказал:

– Мы скоро приедем.

Я спросил:

– На метро поедем?

Зверев поднял бровь:

– На такси!

Сунул руку к себе за пазуху – и достал толстенную пачку четвертных, десятирублевых и пятерок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольно. И, торжественно:

– Деньги – есть!

Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:

– Хорэ, хорэ!

Впереди – огонек зеленый замаячил. В таком районе захудалом – и вот, пожалуйста, приближается к нам такси.

Зверев быстро махнул рукой. И машина – остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. На вопрос шофера: «Куда?» – Зверев кратко ответил:

– В центр!

(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестер Синяковых, в которую был влюблен. Мы со Зверевым навещали иногда ее. Но обычно приезжал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь все у него необычным было, особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на сорок. Но разве возраст – преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестер Синяковых были знаменитыми. Встарь – дружили с фигуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, все когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев умер. Оксану полюбил неумемный Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говорила. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: «Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий художник!» Менты увозили Зверева – и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И она – впускала его. Рисовал он ее – непрерывно. Были сотни ее портретов, на которых Оксана – сияла несравненной своей

красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксана: «Поешь!» Почему-то она отказалась. Толя – вылил кастрюлю горячего борща на Оксану. Потом взял свою любимую на руки – и понес ее в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана еще больше с тех пор любить стала Зверева. Он хранил у нее работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем самым ему помогала. Продавала – по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И висели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драгоценной зверевской женщины, златовласой Оксаны Михайловны. И любовь была небывалой, расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объятиями, обоюдной, – такой и останется, полагаю, она – в веках.)

Мы приехали в центр. Пришли, оба – выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим понятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на нее глазами влюбленными. А потом и сказал:

– Володе негде жить!

Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:

– Как же так?

Зверев – ей:

– Он бездомничает.

– Ах! – сказала Оксана Михайловна. – Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?

Я сказал:

– Да, так получилось.

Зверев буркнул:

– Володя – гений! Как и я. Мы с ним оба – гении.

– Ах! – сказала Оксана Михайловна. – Понимаю, все понимаю. Постараюсь что-то придумать.

Позвонила она кому-то из знакомых:

– Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Володя – гений, как и Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Может, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку.

Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я по возможности вежливо:

– Здравствуйте!

И услышал:

– Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича Олеси. Оксана Михайловна рассказала мне все. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня же – приезжайте! Я сказал:

– Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.

Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.

А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:

– Вот. Вы найдете, Володя. Держите.

Взял я адрес.

А Зверев мне:

– Поезжай. Поживи в нормальных, человеческих то есть, условиях. Отдохнешь. Наберешься сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы еще, и не раз, увидимся.

Чай был выпит. Я стал прощаться.

И сказала Оксана Михайловна:

– Приходите ко мне почаще!

И сказал мне Зверев:

– Хорэ!

Вышел я из подъезда. Шел нескончаемый, сильный дождь.

Я все думал: поехать, что ли? – или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если честно, то я стеснялся. Ничего поделывать с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожилую, хорошую женщину, да еще и вдову Олеси, мне собою обременять. И решил я тогда – не ехать к ней. Поплелся куда-то, в слякоть, в дождь, промок, но упрямо шел, вдоль насупленных улиц, вперед. Где-то я отыскал пристанище. А потом еще и еще. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала, позже, Оксана Михайловна. А Зверев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня – молодец, мол, не стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь, и – выстоял, даже, можно сказать, победил, – слава Богу, жив и здоров.

Где были года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, можно. Так я скажу сейчас...

...Зверев – рисует. Где-то в центре Москвы. В какой-то большой, с потолками высокими, с окнами в полстены, с люстрами, отзывающимися на шаги по

паркету, натертому до блеска, долгим, протяжным, мелодичным, хрустальным звоном, просторной, чистой квартире. Пригласили какие-то люди, с виду вполне ухоженные, спокойные, в меру приветливые, художника знаменитого – сделать портреты семейства.

Мы пришли туда с Толей вдвоем, потому что в семидесятых часто вместе, подолгу, неделями, а бывало, что и месяцами, бродяжничали по столице, по домам ее, то неприветливым, откуда уйти хотелось как можно скорее, в ночь, в метель или в дождь, все равно, лишь бы только быть пусть и бездомными, но всяких граждан недобрых, по возможности, независимыми, то на редкость гостеприимным и вполне симпатичным домам, где ночлег был радостью подлинной, и тепло, и беседы с хозяевами, понимающими, радушными, драгоценными были для нас.

Мы пришли. Принесли с собою две коробки школьной, дешевой, в виде твердых прямоугольников, акварели, простой, надежной, той, которую предпочитал всем другим сортам акварели, даже сверхдорогим, заграничным, неизменно, упрямо, Зверев. Принесли с собою бумагу и несколько плоских, шетинных, для руки удобных кистей. Отдышались немного с дороги. Побеседовали, из вежливости, о том да о сем, с хозяевами, которые вроде настроились на серьезность того, что будет вскоре происходить. И работа тогда – началась.

Зверев – работает. Весь, от макушки до пяток, – в работе.

Всклокочены волосы Толины.

Цепок и точен его пронзительный, резкий взгляд.

На полу – целым фризом разложены ватманские листы.

Рядом с ними – тазик с водой.

И – коробки со школьной, простой, любимой его акварелью.

В руках у художника – несколько больших, широких кистей.

Зверев – ходит между листами ватманскими, нагибается, делает поочередно на каждом листе мазок, выпрямляется, смотрит на то, что получилось, дальше движется, и листы заполняются постепенно цветом, преобразуются – и начинают жить своей, особой, таинственной и полнокровной жизнью.

Семья хозяев – сидит на стульях, напротив Зверева, в полном составе. Смотрят, словно на чародея, на него. Любопытно им – что же в итоге получится? Но пока что – надо позировать. И сидят они все, как миленькие. И позируют. Устают, но, однако, терпят. Так надо. Так сказал художник: сидеть! Двое взрослых, муж и жена. Муж – солидный, немолодой.

А жена – молодая, красавица, в легком платье, с глазами томными, с поволокой. Двое детей, принаряженных, симпатичных, круглолицых, мальчик и девочка. Обеспеченная, наверное, да и дружная вроде семья.

Зверев рисует их – по очереди. Начинает с детей. А потом переходит на взрослых. Он ходит по полу, между листами, машет кистями, брызжет водою из тазика и на паркет, и на бумагу, фыркает, приплясывает, бормочет что-то свое, хватается акварель, всю коробку, вываливает ее на бумагу, шлепает рукой по бумаге, которая заполняется все интенсивнее, и это – процесс, который остановить невозможно, творческий, вдохновенный, в полете, в сплошном движении, и это – действие, загадочное, таинственное, ритуальное, фирменное, коли так можно назвать его, зверевское, так-то проше, и по-русски звучит привычнее, жреческое, магическое, действие его трудов.

Зверев порой говорит:

– Сюда посмотри, детуля!

Или бормочет:

– Так. Не двигайся. Хорошо.

Завороженная Зверевым, семья послушно, смиренно подчиняется беспрекословно ему, потому что так надо, выполняет его приказы и смотрит во все глаза на него – жонглера и фокусника, циркача, актера и мага.

И расцветчивается бумага.

И на ней возникают – портреты.

Как, откуда? Вроде бы не было их недавно – и вот они, здесь!

Чудеса, да и только! Тайна.

Есть в квартире теперь – новизна.

Здесь присутствует нынче – искусство.

Зверев топчется возле работ.

Говорит:

– Не хватает белого!

Но никто его не понимает из хозяев. Какое белое?

Зверев голос на них повышает:

– Есть у вас порошок стиральный?

– Есть! – ему отвечают. Идут за порошком. Несут порошок в коробке. Протягивают коробку полную Толе.

Зверев берет коробку, прыгает над работами в странном танце – и сыплет, сыплет порошок, словно снег, на работы.

И работы – преобразуются. Одна за другой, по очереди. Светлеют. Становятся дымчатыми. Да еще появляется в них – фактурность. По акварелям словно метет поэмка.

Зверев смотрит на то, что сделал.

Говорит хозяйевам:

– Веник! Поскорее – несите веник!

И ему приносят большой и широкий новенький веник.

Зверев макает веник в тазик с водой – и брызжет на работы. И что-то снова происходит с ними тогда. Сквозь белесость от порошка прорывается цвет – все гуще, все обильнее, пятнами, сгустками, цвет – в котором таился свет, а теперь получил возможность здесь, в квартире чужой, сиять – и решительно всех изумлять.

Зверев бросает веник на пол. Дух переводит. Смотрит на акварели. И говорит хозяйевам:

– Нож! Принесите нож!

Хозяева не понимают его. Озадаченно спрашивают:

– Какой еще нож? Зачем?

Зверев им объясняет:

– Кухонный нож. Любой.

Хозяйка идет на кухню. Приносит столовый нож. Протягивает его, с некоторой опаской, надо – так надо, Звереву.

Зверев хватает нож. Делает им на работах белые резкие полосы, всякие загогулины, по сырым цветовым переливам, поверх акварели. Потом пишет ножом на каждой свежей работе, ставшей почему-то воздушной, движущейся, подпись свою – АЗ. И, разумеется, – год.

Смотрит на акварели.

И говорит:

– Все!

На пол бросает нож. Выпрямляется. И – улыбается. Отработал. Можно, пожалуй, да и нужно ведь, отдохнуть.

Члены семьи, которых изобразил художник, с места встают, порываются посмотреть поскорей на работы.

Зверев их останавливает:

– Нельзя! Работы – сырые.

И говорит помягче:

– Пускай полежат. Потом успеете посмотреть.

Члены семьи соглашаются – ну что ж, потом так потом.

Зверев спрашивает меня:

– Скажи, ну как, получилось?

Я отвечаю:

– Да. Получилось. Ты молодец.

Зверев довольно щурится.

Хозяин зовет нас к столу – выпить и закусить.

Приглашение мы принимаем.

Сделанные акварели остаются лежать на полу – сохнуть, до той поры, когда их, наверное, тогда, когда разрешит художник, можно будет смотреть.

Время за разговорами, за выпивкой – быстро проходит.

И вот отдохнувший немного от трудов своих долгих художник говорит наконец хозяйевам:

– А теперь – смотрите работы!

Вся семья бросается в комнату, где лежат на полу акварели.

Видят их. Восклицают восторженно:

– Ах, какие мы все красивые! Ну, спасибо вам, Анатолий Тимофеевич!

Зверев:

– Не за что. Я – работал. А вы – позировали. Я вас просто увековечил.

Хозяева деньги ему в аккуратном конверте протягивают – за работу. Зверев небрежно берет конверт и сует в карман. Заработал – и ладно. Пригодятся еще, на жизнь.

Мы прощаемся с увековеченной семьей – и выходим на улицу, в гомон столичный, прямо в ненастный осенний вечер.

И Зверев мне говорит:

– Хорошо, что ты рядом, Володя. Мне с тобой спокойнее как-то. И рисуется лучше вроде бы, чем тогда, когда я один.

Я киваю в ответ головой.

Что сказать? Здесь слова не нужны.

Все и так понятно, без слов.

Мы идем вдвоем вдоль домов, то теснящихся, то расступающихся чуть пошире, вдоль длинных оград, вдоль деревьев редких, куда-то – в сердцевину безвременья, в даль, за которой возможна и глубь, ну а может быть, даже и высь, где огни впереди зажглись, где куда-то прийти нам надо, где дождемся тепла и лада...

...Весной Драконьего, семьдесят шестого года, когда обитал у знакомых я, временно, в очередной коммуналке, меня разыскал Зверев.

Он ворвался стремительно в комнату, где сидел я за старым столом, в одиночестве, ставшем привычным для меня, и что-то писал на случайном листе бумаги.

Он буквально влетел сюда – и наспех, без церемоний, поздоровавшись, как-то глухо и взволнованно мне сказал:

– Володя! Поедем к Костаки!

Я спросил:

– Что случилось, Толя?

Зверев грузно присел на шаткую табуретку, слегка отдышался, посмотрел на меня в упор глазами своими карими, почему-то уставшими, влажными, покачал головой взлохмаченной – и грустно, с ка-

кой-то болью очевидной, с усилием явным, не ска- зал, а почти прошептал:

– У Костаки случился пожар...

– Где?

– Недавно, на даче, в Баковке. Там хранил он из- рядную часть огромной своей коллекции. Были там иконы чудесные. Были там и мои работы, очень много давних работ. Вроде столько всего сгорело! Подожгли, наверное, дачу специально всякие сволочи. Я звонил ему. Он просил меня по- скорее к нему приехать. Ну а мне, ты меня пой- ми, ты всегда меня понимаешь, приезжать одному к Костаки тяжело, поверь. И поэтому обращаюсь к тебе по-дружески, напрямую: давай с тобой мы к Костаки вместе поедем. Ты ведь знаешь – с то- бой мне спокойнее, где бы ни были мы, в любом, даже самом опасном месте, и в любой ситуации, даже самой сложной, словом, везде. Поддержи меня нынче, старик! Надо ехать. Поедем – вдвоем! Я сказал:

– Хорошо. Поедем. А когда?

– Да прямо сейчас. Ты давай, собирайся, друг. И – поедем. Костаки ждет.

Я накинул куртку свою. Взял портфель.

– Ну, вот. Я готов.

Зверев, хрипло и кратко:

– Вперед!

На улице Зверев привычно помахал рукой у обо- чины дороги. Довольно быстро остановил такси.

И мы с ним вдвоем поехали по московским про- сторам к Костаки.

День, весенний, но темноватый почему-то и даже сумрачный, был довольно холодным. Ветер налетал на деревья голые и раскачивал ветви их, шевелил обрывки афиш, залетал в окно приоткры- тое, внутрь, в машину, где мы курили и молчали. И снег лежал у оград и стен. И асфальт скользким, прочным ледком поблескивал. И вдали, в нависшем над городом, беспокойном, тяжелом небе, назре- вала, клубясь и хмурясь, разрастаясь, ненастная хмарь.

Зверев был напряжен. Молчал.

Иногда головой качал.

И вздыхал. И шептал:

– Пожар...

И опять замолкал, надолго.

И смотрел, насупившись, грустно и светло, за стекло, слегка запотевшее, а куда он смотрел – да кто его знает, может – в прошлое, отшумевшее, героическое свое, ну а может быть – в настоящее, где летали над сквером голуби и клубились в небе свинцовые и лиловые облака, или, может быть – пря-

мо в грядущее, всех нас там, в отдаленье, ждущее, до которого нам идти еще через годы, как сквозь века.

И машина, шурша колесами по асфальту, ковром- самолетом поднимаемая, как в сказке, вверх, про- носилась над пестротой всей застройки сточи- ной, похожей на расставленные костяшки домино, устремлялась вниз и летела быстро вперед.

Наконец мы на место приехали.

Вот и дом, всей Москве известный, где живет се- мейство Костаки.

Поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И стали ждать.

Дверь открыл смятенный Костаки.

Он бросился к Звереву:

– Толя! Вот уж горе какое! Пожар!

Зверев:

– Да, дядя Жора. Пожар.

И Костаки всплеснул руками:

– Заходите скорей, заходите!

Зверев:

– Честно скажу – мне было приезжать одному тяже- ло. И поэтому я приехал к вам сегодня с Володей Алейниковым.

И Костаки взглянул на меня благодарно:

– Спасибо, Володя! Хорошо, что в такое время не- простое вы рядом с Толей.

Я ответил ему:

– Так надо.

И Костаки:

– Вот именно. Надо. Надо друга сейчас поддержать.

Я ответил:

– Именно так.

И Костаки, с лицом набрякшим, смуглым, стран- но отяжелевшим, с воспаленным взглядом усталых, но живых, искрящихся глаз, весь – мучение, скорбь и боль, весь растерзанный, но упрямо и отваж- но противостоящий злу, с которым ему сражаться приходилось, и весь – протест, вызов, дерзостный и достойный, всем гонителям и врагам, нам сказал: – Пойдемте ко мне!

Мы зашли за ним в комнату, густо, сплошь уве- шанную картинами.

Говорить о том, что за живопись у Костаки была, особого смысла нет – и так это было всем в столице давно известно.

Мы присели за стол со Зверевым. Закурили. Зве- рева молчал. Только сгорбилась как-то, сжался на- пряженно. Я тоже молчал.

И Костаки вышел из комнаты. И вернулся вско- ре. В руках он нес большую грудку гуашей, по краям обгорелых. Гуаши были зверевскими. И на них – со- хранилось изображение. Диво дивное, да и только!

В руках он нес большую грудку гуашей, по краям обгорелых. Гуаши были зверевскими. И на них – сохранилось изображение. Диво дивное, да и только!

И Костаки тогда показал эту грудку гуашей Звереву. И сказал огорченно:

– Вот!..

И – заплакал.

Зверев сказал, посмотрев на гуаши:

– Я вижу.

И Костаки начал рассказывать, как спасал он на даче работы от огня, собирал их, валявшиеся на участке, в глубоком снегу, из окна торопливо выброшенные неизвестными, но, наверное, что находится в доме, знавшими и расчетливыми грабителями, как пропали иконы ценнейшие, да и много всего пропало из коллекции, очень много, и не плакал даже – рыдал.

И Зверев ему сказал:

– Дядя Жора, вы успокойтесь. Ну, пропали мои работы. Обгорели. Или сгорели. Ничего! Еще нарисую!

И Костаки его спросил, благодарно, взволнованно:

– Правда?

Зверев, искренне, просто:

– Правда!

И Костаки, пусть и с трудом, но по-детски со всем, – улыбнулся.

Зверев:

– Есть акварель, бумага?

И ответил Костаки:

– Есть!

Зверев:

– Ясно. Несите сюда!

И немедленно появились на столе акварель и бумага.

Зверев:

– Кисти нужны!

И вскоре на столе появились кисти.

Зверев:

– Миска с водой нужна!

И костакинские домочадцы притащили миску с водой.

Зверев:

– Так. Дядя Жора, у вас есть какой-нибудь красный шарфик?

И Костаки:

– Сейчас пошу.

И нашел. И принес его:

– Вот.

Зверев:

– Так. Накиньте-ка шарфик. И садитесь. Буду работать.

И Костаки накинул шарф, красный, даже багрово-красный, словно пламя, себе на шею.

Зверев:

– Так. Смотрите сюда, на меня.

И – начал работать.

Как всегда. Не быстро – стремительно. Весь – в полете, в буйном движении. Весь – в порыве. И весь – в труде.

И взлетала рука его, гибкая и подвижная, крепкая, верная и надежная, легкая, певчая и крылатая, так мне хочется о рабочей зверевской, бережно сохраняемой им в любых передрыгах руке сказать, вверх и вниз, то влево, то вправо отклонялась, к центру листа, вместе с кистью широкой, рвалась отовсюду туда, где цвет становился светом, где краски заполняли неудержимо белизну бумаги, где образ возникал из ритма, движений непрерывных, и постепенно становился уже узнаваемым, четким, точным, дышал, оживал на глазах у нас, укрупнялся и сгущался, весь – в окружении синкопическом, бурном, звонком, словно музыка здесь звучала, броских пятен, точек, мазков, артистичных и виртуозных, и всего, что было сейчас и оправданным, и возможным, и реальным, и фантастическим, даже сказочным, так вернее, да, вернее, поскольку сказка становилась явью, сегодняшней, несомненной, чудесной, зримой, и – волшебной рукой творимой.

И вот он – закончил работать.

И сказал, распрямившись:

– Все! Есть. Бодрит. И хорэ. Смотрите!

Мы увидели великолепный, поясной, драматичный портрет.

Костаки на нем – сидел, с красным шарфом на шее, глядя и на всех нас, и на потомков, полагаю, глазами, влажными и печальными, – он смотрел в настоящее и грядущее, и с достоинством, и с осознанием неизменной своей правоты.

Зверев сказал, сощурившись:

– Костаки после пожара!

Костаки с места вскочил. Бросился обнимать Зверева. Красный шарф пылал на плечах его жаркой, жгучей, огненной лентой.

– Толя! Спасибо, Толечка.
Зверев, устало:
– Не за что!
Костаки смотрел на работу свежую – и восторгался.
Воскликнул:
– Я оживаю! Слава Богу – я снова живу!
Зверев:
– Живите подольше. Все остальное – приложится.
Костаки:
– Братцы, живем! Зина, скорее на стол накрывай! Принеси нам вина. Дети, смотрите, какой я на портрете – после пожара!
Прибежали все домочадцы. Восхитились портретом. Поахали. Быстро накрыли стол. Бутылки с вином стояли на нем заграничной шеренгой. И было закусок вдосталь.

Костаки, торжественно:
– Выпьем! Выпьем, друзья, за искусство. За бессмертное наше искусство русское. Выпьем. До дна! И все мы охотно выпили.
И началось тогда – невиданное застолье.
И Костаки, слегка захмелев, хлебосольный, радужный хозяин, взял гитару – и начал петь, увлеченно, страстно, – романсы.

И потом попросил меня почитать, хоть немного, стихи.

И пришлось мне, конечно, читать.
И Костаки сказал:
– Замечательно! И поэтому выпьем сейчас мы, друзья, за поэзию русскую!
И за это мы тоже выпили.
И застолье наше все длилось.

День прошел, и вечер прошел. И настала ночь. И когда мы ушли от Костаки – не помню. Да, пожалуй, уже под утро.

Попрощались мы – и ушли. Прямо в холод предутренний. В брезжащий, разрастающийся постепенно и упрямо весенний свет.

Странно думать мне нынче, седому, повидавшему в жизни многое, что Костаки тогда казался мне пожилым совсем, чуть ли не старым, а ведь был он в ту пору, трудную для него, значительно младше, вы представьте, меня, сегодняшнего, да еще и на десять лет.

И остался в памяти он – с красным шарфом, огненно-красным, на плечах, отголоском пожара, или, может, скорее всего, знаком, символом жарким горения, за которым – радость дарения, что не знает вовек старения, словом – творчества торжество...

* * *



*...Отыскался мой давний набросок.
Оказался – с виду – набросок.
Только в нем – прежней жизни кусок.
Сразу кровью набух висок.
Сердце жгало. Душа встрепенулась.
Неужели что-то вернулось?
Ненадолго? Или – навек?
Эх, наивный я человек!
Что гадать об этом – теперь?
Жизнь – моя. В ней не счесть потерь.
Обретенный и снов – не счесть.
Нечто странное в этом есть?
Нечто светлое, все же? Так.
Безусловно. Светлее стало.
В мире. В яви. Ее ли мало?
Звук ли с призывком? Добрый знак.*

Истрепанные, пожелтевшие, но все-таки уцелевшие, завалившиеся в бумагах, разрозненные листки.

С изрядным трудом, признаться, разбирая свой собственный почерк, попробую прочитать этот текст о минувшем времени.

День этот – день особый – начался, понимаю теперь я, задолго до своего места в календаре.

Пространным к нему предисловием было вынужденное, донельзя утомительное хождение мое по московским улицам – вроде бы и среди людей, вон их сколько везде, но в то же время и в полном одиночестве, абсолютном, полнейшем, непоправимом, невыносимом, осторонь от всех и всего вокруг, наедине с самим собой, со своими, то смутно сквозящими, холодящими, то воспаленно-жаркими, возникающими непрерывной чередой в усталом сознании, скомканными, запутанными, с узелками событий, завязанными наугад, лишь бы вспомнить, мыслями, с житейскими, бесконечными тогда, своими проблемами, из которых самыми важными были в ту трудную пору хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, на любых, даже самых жестких, условиях, где угодно, когда угодно, лишь бы голову приклонить, лишь бы снова почувствовать эту безопасность приятна мнимую, безопасность дома, любого, пусть знакомого, пусть чужого, безопасность простого крова, да и только, почти гнезда.

Тогда – Боже мой, каким же чудовищным, да и только, представляется это нынче, в спокойную, пусть относительно, и на том ей спасибо, пору жизни моей, – я бездомничал.

Семилетняя полоса измотавших меня вконец, познаться могло кому-то не случайно, моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, этого пока что еще не знал.

Одна лишь изредка брезжущее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неизбежных, удивительных и спасительных, потому что нельзя иначе, потому что вера с надеждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и совершает чудеса, да еще какие, это знал я и этого ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, не впадать все чаще в хандру или, хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки всему, что мешало мне дышать, вопреки жестокой, с перебором большим, действительности, закрутившей со мной затянувшийся свой рискованный эксперимент, на грани срыва и взлета, почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.

Тот, кто в досталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за кормою проплывающих в гуще тумана молчаливых суденышек, годы – без угла своего, без средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой простой, лишь бы грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и ладно, все сгодится, что есть, то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, вообще без всего такого, что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными всем приметам нормальной вполне, человеческой, без излишеств сказочных, жизни, – пребывая в каком-то подвешенном, не сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи страшной повседневностью, сонмами будней, беспросветных и хищных, куда-то на обочину той дороги, по которой гуляет советская и, значит, отличная, лучшая в мире, со знаком качества в петлице, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подальше от глаз, туда, к вынужденной богемности, к неприкаянности, к отверженности, – понимает меня с полуслова, с полувзгляда, и хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытал это все на собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как жестока и равнодушна к человеку бывает Москва.

Так все складывалось, что мне совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, все равно не услышит никто, податься, не к кому было пойти, ненадолго совсем, отдышаться, успокоиться, пусть на часок, даже меньше, на все был согласен я тогда, но куда деваться, если некуда было идти, просто

некуда, не к кому вовсе, – никуда, увы, не пойдешь, ни к кому, словно встарь, не зайдешь, никого нигде не найдешь, и на все вопросы ответ был один-единственный: нет.

Многочисленные знакомые, словно загодя сговорившись меж собою, все, в одночасье, непонятно куда запропали.

Нет – и все тут. Где их искать?

Пустота вместо них какая-то нехорошая. Тишина bestолковая. Темнота? Маета с теснотой? Кто знает!

*Свято место вроде – ан пусто.
Знать, бывает. Идей – не густо.
Мыслей – хоть отбавляй. С избытком.
Не прибегнуть ли вновь – к попыткам?
Чай, не пытки. Ну что ж, рискнем?
Не впервой играть мне с огнем.
Не впервой идти на авось.
И откуда это взялось?
Все оттуда – из лет былых.
Из бездомци, из бед сплошных.
Из невзгод. Наугад – вперед.
Через реку времени – вброд.
Сквозь огонь, и дождь, и снега.
Благо жизнь была дорога.
Хоть висела – на волоске.
Хоть несладкой была – в тоске.
И – нескладной. Нелепой. Пусть.
Это помнится – наизусть.
Это было – не с кем-нибудь.
Был тернист и кремнист мой путь.*

Заходил я, снова и снова, пересилив себя, шагая от усталости многодневной и от голода, что там скрывать, в очередной, попавшийся на пути моем, на глаза мне, телефон-автомат, в пустую, тесноватую, душную будку с разбитыми стеклами, с дверью расшатанной, с трубкой, висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную монетку, набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь номер в надежде, что вот-вот дозвонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось немного, и грядет впереди подмога, и удача, возможно, ждет.

– Алло! Меня слышно? Алло!

Но, как назло, не везло.

В ответ либо раздавались длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни сюда, сигналящие о крушении всех надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и лишних вовсе, ни о чем, вот и все, гудки, либо голос невыразительный от вечал, что сейчас такого-то, по причинам, ему неведомым, разумеется, дома нет.

Измотанный, полуживой, с тяжелой головой, с растрепанными волосами, под столичными небесами, среди стен и оград, один, с бородой рыжей, с портфелем, в котором лежали стопки рукописей моих тогдашних, да корка хлеба черствая, да вода во фляге, да несколько книг, в состоянии то ли транса, то ли просто-напросто близком к обморочному, что было действительно ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете не нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их все-таки сколько, таланты, ну и что с ними делать, нищий, вот уж точно, по существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в чьем сердце живет отвага прозорливца, поэта, мага, никакого ни видя блага ни в тепле, вернее, жаре, ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в ампириных, в сторонке, чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и выбоинах, тротуаров, отрешенно, словно по воздуху, мне мерещилось, переходил на зеленый, дозволенный свет проезжую часть шуршащих, верещащих машинами улиц, изредка чувствуя дикую, иначе не скажешь, усталость в ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно жирной зеленой краской с ядовитым въедливым запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но вставал и шел, но куда же, знать бы об этом тогда мне, дальше.

Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня – и, на всякий случай, во избежание разных, нежелательных, но возможных, и особенно здесь, в Москве, столкновений или вопросов, на которые отвечать никому из них не хотелось, или, может быть, разговоров, что само по себе отпадало, отметалось немедленно всеми, нет, и все, забывалось тут же, потому что дорого время, а здоровье еще дороже, да и нервные клетки потом, как ни бейся, не восстановишь, и поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и тем более мимо этого, бородатого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в портфеле, поди гадай, может, бомба, а может, граждане, прокламации или выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста это, лучше быть начеку, держаться подальше, так спокойнее, так надежнее, в толчее людской, в суматохе, в нервотрепке нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи одиноких субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих вообще уже ничего, все равно, и какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить спокойно, да где покой, где, скажите, прелести быта, все для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждет корыто, вместо

царства, да под рукой только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в гастроном заскочить за манной земной, – обходили меня стороной.

Лица их густо пестрели. Роились. Дробились. Множились.

Пересекали Садовое, в реве машин, кольцо.

Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели. Подытожились.

Что-то случилось? Вроде бы все – на одно лицо.

Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чем-то дурном, пятно.

Перемешались в мареве, в едком, угарном вареве, именно в том, где только что были все заодно.

Всякие городские, много их слишком было на каждом шагу, подробности мозг мой уже не улавливал.

Растерянно шурясь, брел я на свет раскаленного солнца, инстинктивно вбирая, впитывая, впрок, возможно, его энергию.

Не до шуток мне было. Сердце побаливало. Нашарил я валидол в кармане, таблетку положил под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус лекарства, скорее – конфеты, но считать мне хотелось – лекарства.

Боль была – какой-то сквозной.

Сверху донизу – все болело.

Что за странности? В чем же дело?

Был взволнован я. Что со мной?

Промелькнул, пусть на миг, испуг.

Отогнал его. Где ты, воля?

Вдосталь в жизни – всяческой боли.

Распасться нам недосуг.

Не сдаваться! За кругом круг.

Шаг за шагом. И миг за мигом.

К новым встречаю. И – к новым книгам.

А потом – и к себе, на яг.

Если вырвусь отсюда снова.

Если съездова повезет.

Я надеюсь. А боль – пройдет.

Неприменно. Честное слово.

Так вперед! Сквозь тоску – вперед.

Сквозь усталость. И сквозь бездомность.

Вечер скоро. Небес огромность.

Безусловность грядущих льгот.

Обретенный возможных свет.

Пробуждений. Прозрений новых.

И – путей вперед. Суровых?

Легких – попросту в мире нет.

Истошение, да и только, – подобное состояние, как ни думай о нем, иначе, очевидно, и не назовешь.

А может быть, просто усталость, общая, так ведь спокойнее, – следствие предыдущих, на износ, тяжелейших недель.

Надо было справиться с этим состоянием – предстания: перед всем, что ждало меня впереди, что вставало там, за домами, за грозным гулом городским, за каждой крышей, каждым деревом, каждым окном, каждым, даже тревожным, сном, каждым, чудом пришедшим, благом, каждым поднятым в небо флагом, каждым шагом – в пространстве, сквозь время, сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех бездомниц моих кошмар позади наконец оставив, и воспев, и навек прославив, коль сумею, душевный жар, и найти заветное слово, чтобы впредь его укрепить, надо было мне – выжить снова, чтобы дальше – дышать и жить.

Итак – что же было? Долгое мое, по мукам, хождение, с утра, и весь день, и вечером, и ночью, что вдруг пришла.

По улицам с переулками, с проездами, закоулками, бульварам, дворам и скверам, – знать, не было им числа.

Вокруг прудов Патриарших, и дальше, куда-то в сторону и вглубь, в густоту застройки столичной, и ввысь, почти.

Сирень ли цвела в округе, ну впрямь как у нас, на юге, но влагою пряной пахло везде на моем пути.

Вдосталь наслушавшись пения голосистых утренних птиц, почему-то я оказался в пустынном саду «Аквариум», где и встретил встающее солнце.

Стены театров поблизости смотрелись какой-то странной, вычурной декорацией.

Главное было в том, что рядом цвели деревья.

Сощурившись и соскучившись не на шутку по красоте, смотрел я на свечи каштанов, каскадами вертикалей излучавшие белый, тихий, с розоватой прослойкой, свет, на яблони, благоухание которых казалось мне утренним шепотом из далекого, но доселе близкого детства.

И только две-три фигуры, застывшие, как изваяния гипсовые, на скамейках, да чья-то собака лохматая, бредущая по дорожке, порою напоминали о присутствии в мире, в столице, в непреложной яви, людей.

...Вот и все, что, с трудом, с усилием, как сказал однажды Толстой, а потом, через много лет, повторил за ним Заболоцкий в своих поздних стихах чудесных, удалось мне, грустно вздохнув о былом, головой качая поседевшей, все ж разобрать.

Но зато – сразу, если не все, то уж точно многое вспомнилось.

Приходится, вот как бывает, подумать ведь только, себя, с опытом всем своим немалым, с памятью, с музыкой, возрастающей в ней, встающей над годами сиянием, лунным, или солнечным, или звездным, и звучащим, буквально сдерживать, чтобы прямо сейчас, немедленно, не теряя времени, начерно или набело, как получится, как уж выйдет, хотя бы часть, хоть какую-то кроху этого, навсегда, звучания зримого, мне, в который уж раз, даримого кем-то свыше, не записать.

Как сдержаться? С трудом, с усилием? Звуков явленным изобилием, знаков, символов, смыслов, тождественностей речь полна – они не молчат.

И звучат голоса из прошлого, в переключку вступающая с нынешними голосами, да и с грядущими, не смотря ни на что – звучат...

* * *

Сколько помню Володю Яковлева – всегда он, самоотверженно, вдохновенно, порой неистово, с отдачей полной, трудился.

Полуслепой, постоянно, где бы ни был, повсюду теряющий очки с какими-то слишком уж большими, всех озадачивающими, «не как у людей», диоптриями и поэтому предпочитающий обходиться обычно без них, приближал он, бывало, вплотную, не глаза – все лицо! – к прикрепленному четыремя кривоватыми кнопками картону, плотно стоявшему на мольберте, а то и просто наспех к нему прислоненному ватманскому листу бумаги с молниеносным, только ему одному и понятным, летучим наброском, несколькими штрихами определяющим сущность работы будущей, вскоре, возможно – по волшебству, обязанной появиться, – и будто бы чуял ее, видел всю ее – внутренним зрением.

Потом начиналось – бурное, стремительное движение руки, взлетающей вверх и вниз, и влево, и вправо, и куда-то за край листа, и вокруг листа, и потом в самый центр его, в точку схода линий всех, и пятен густых, недомолвок, смещений, сгущений, и разлившееся внезапно полноводной рекою буйство всех, что есть под рукою, красок, и мельканье неудержимое и широких, и тонких кистей.

Гуашь, которой Володя обычно работал, всплывала в открытых загодя баночках, словно сама с готовностью вырывалась ему навстречу, и летела к бумаге, и сразу же ложилась именно там, где было необходимо.

Точнейшими попаданиями динамичных, резких мазков заставлял он ворочаться, двигаться, дышать

широко и свободно всю цветовую гамму, контрасты все и акценты.

Любое пятно, скопления капель, россыпи брызг, в совокупности дерзкой своей, всегда играли по крупной, работали все – на общее, на целостность всей работы, на то, что должно – быть.

И вот возникал – образ.

И – начинал жить.

Яковлев, посмотрев на то, что он создал, сощуривал в две китайские узкие щелочки свои фантастически темные, да просто угольно-черные, с никогда и нигде не гаснущим на самом дне увеличенных донельзя зрачков, таинственным, беспокойным огнем, какие-то по-особому жаркие, жгучие, поразительные в своей непохожести на другие, на такие, которых множество можно видеть на каждом шагу, нет, конечно же, с не случайною в них надеждой, необычайные, даже больше, похоже – провидческие, изумительные глаза, откладывал в сторону кисти, закуривал сигарету – и, в сизом облаке дыма, с лицом, слегка побледневшим от немалого напряжения недавнего, распрямляясь, как будто бы поднимаясь над судьбою своей суровой, над работой своею новой, улыбался устало:

– Все!..

...Весной шестьдесят шестого рассказал я Володе Яковлеву о случайно увиденном фильме Феллини «Джульетта и духи».

Он – выслушал с интересом меня. Походил по комнате. Закурил. Посмотрел в окошко задумчиво. Поглядел на меня своими чернющими, как пылающий уголь, глазами, задумчиво, но и пристально. Пошевелил губами, влажными, лиловатыми, растресканными слегка, с прилипшей табачной крошкой желтой. Потом сказал:

– Алейников! Там, в этом фильме, – духи, сплошные духи. Сколько их, этих духов? Бедную женщину – жаль. Кто ей поможет? Она, видимо, очень страдает. В жизни – такое бывает. Вот, например, у меня. Духи – повсюду. Разные. А может быть, и не духи. А так, непонятные силы какие-то. Вижу я их. С ними борюсь постоянно. Даже, похоже, сражаюсь. Нельзя их к себе подпускать. Лучше держаться подальше от них. Так спокойнее, вроде бы. Хотя – какое спокойствие может – в моей-то жизни, сам понимаешь, какой, и смысла нет объяснять, почему она получилась не такой, как у всех вокруг, а какой-то слишком уж странной, да еще и нелепой, даже первобытной какой-то, дикой, да и грустной, – быть у меня! Что, скажи-ка, мне остается в этой жизни делать, такой

вот несущая? Только работать. Да, работать. Вот и тружусь непрерывно. Этим спасаюсь. И от духов, и от тоски, и от вечного, каждый миг, каждый час, каждый день, каждый год, бесконечного одиночества. Жив я – духом. Высоким, знаю. Тем, который не всем дается. Нелегко мне. Это уж точно. Значит, надо терпеть. Смиряться? С чем же? С бредом? Нет, никогда не смирюсь. Потому-то я и рисую. И – выражаю все, что есть в душе у меня, все, что чувствую, все, что вижу, все, что я понимаю. Чем? И умом своим, и хребтом. И – чутьем своим. Весь я – творчество. Так, пожалуй, можно сказать обо мне. Такое вот слово в языке нашем есть. И в нем – жизнь моя и судьба моя.

И Володя взмахнул рукой, словно птичьим крылом, как будто захотел сейчас же взлететь – высоко, туда, где не будет ни унылого быта, ни грусти, ни психушек, ни всяких житейских, надоевших порядком, сложностей, ни всего, что давно мешает жить ему по-людски, дышать полной грудью, быть полноценным человеком, а не каким-то инвалидом полуслепым, где его заждались вдали свет целебный, покой и воля, где исчезнет навек с земли даже признак всегдашней боли...

...А когда я, все той же весной, рассказал взволнованно Яковлеву об увиденном, тоже случайно, фильме Феллини «Восемь с половиной», шедевре явном, стал Володя вдруг очень серьезным, а потом о чем-то задумался.

И сказал:

– А вот этот фильм понимаю я хорошо. В нем движение творчества есть. Это все мне прекрасно знакомо. Жаль, что я не бываю в кино. Ничего не поделаешь – зрение. Но зато у меня есть то, чего вовсе нет у других. У меня есть – воображение. И оно, это знаешь ты сам, начинается – преображение. А чего? Да чего угодно! Вот хотя бы комнаты этой. Подоконника. Шкафа. Стола. Этих красок. И этой бумаги. И тогда является – творчество. Что такое, по-твоему, творчество? Это чудо. И результат – навсегда запомни – труда. Потому-то я и работаю. Каждый день, между прочим. Тружусь. И работой своей – спасаюсь. От всего, что мешает мне жить. И работа моя – серьезная. И картинки мои – долговечные. Это твердо я знаю. Когда-нибудь их поймут, непременно поймут. Да и нынче уже – понимают. Пусть не все. Это вовсе не страшно. Понимают мои картинки те, кому пониманье – дано. Согласись, что и это – дар. И поэтому пусть мне бывает тяжело, даже очень, нет, слишком тяжело, да так, хоть кричи. Ничего. Работа меня отовсюду выводит к свету. И победа будет – за мной.

И Володя взглянул – как будто быстрой птицей рванулся в пространство – за окно, туда, где свободно разливался весенний свет, – и глаза его стали влажными, и лицо его посветлело, словно стал он в это мгновение обитателем ясной вечности, вне любых обстоятельств жизненных, слишком грустных, и вне времен...

Однажды, в период, поистине редкостный для него, относительно ровный, спокойный, без томительного пребывания в очередной психушке, и хорошо, что вдали от этого заведения, в родительской тесной квартире, вдохновенно и одержимо работая целыми днями, весь – в трансе, в полете, в движении, в очередном постижении творческих тайн, открытий, весь в ореоле наитий, неистовый труженик, Яковлев сделал огромную серию гуашей – и пригласил, внезапно, позвал, по-дружески, даже призвал меня – немедленно их посмотреть.

Получилось это неожиданно.

Я позвонил Володе, чтобы голос его услышать и немного поговорить.

И услышал – категоричное:

– Алейников, приезжай! Приезжай ко мне поскорее. Я тут столько всего наработал! И хочу тебе все показать.

Я ответил:

– Скоро приеду.

И – приехал к нему, в квартиру на Шелепихинской набережной.

Яковлев был в ней – один.

Он встретил меня – и сразу же потащил за собой, в свою комнатку-закуток, – поскорее смотреть работы.

И сызнава началось – нечто невероятное.

Работы размером в четверть ватманского листа он, дымя сигаретой, перебирал довольно быстро, как будто небрежно перелистывал толстую книгу.

Потом начались работы на половинках листа – их он показывал медленнее, сам в них пристально глядяваясь, а интенсивность живописи все усиливалась и сгущалась.

Потом пошла чередой гуашей в полный формат, мощных, монументальных, щедро насыщенных цветом, буквально поющих, звучащих, в дивной гармонии красок, в космической полифонии тонов и полутонов, звуков, отзвуков, призвуков, оттенков, штрихов, деталей, обобщений, прорывов сквозь время, путешествий в пространстве, – и Яковлев показывал их с каким-то пробудившимся в нем достоинством, со значением, все возрастающим, в еще более медленном темпе.

От пиршества цвета, от этого количества явных шедевров, у меня уже закружилась голова, заболели глаза.

Взглянув на меня и почувствовав, что я уже очень устал, и явно щадя меня, Володя вздохнул устало, отодвинул работы в сторону – и прекратил просмотр.

Он закурил – и тихо, доверительно произнес:

– Вот видишь, сколько их, этих картинок новых моих! Я – рисовал, рисовал. Всем уже рисовал – и руками, само собой, и ногами, и головой. Задницей только еще не пробовал рисовать. Но так вот, конечно, не надо. А работать – надо и дальше. И я все рисую, рисую. А что еще остается? – Он сощурился на меня, улыбнувшись. – Ну как, понравилось?

И я, совершенно искренне, тогда ответил ему:

– По-моему, эти новые вещи твои – гениальные.

Он весь, будто солнечный луч озарил его, вырвал из мрака, засиял глазами бездонными, грустными, – и просветлел.

Году в шестьдесят шестом я познакомил с Яковлевым своего тогдашнего друга, Виталия Пацюкова.

Тогда еще не был он известным искусствоведам, автором многочисленных и весьма серьезных статей о близких ему художниках нашего авангарда, куратором разных выставок в России и в западных странах, просто незаменимым, непрерывно и плодотворно трудящимся, год за годом, во имя искусства нового, человеком, а был простым инженером, где-то работал, числясь на скромной должности, но зато горячо, всерьез, любил он литературу и любил, конечно, искусство.

Позвонил я однажды Яковлеву.

Договорился о встрече.

И – привел к нему Пацюкова.

Там, в небольшой двухкомнатной квартире, где, несмотря на полное, даже полнейшее, безнадежное просто, отсутствие более или менее сносных условий для творчества, Яковлев постоянно, целенаправленно работал, а заодно и жил, в тесноте немислимой, в крохотном, темноватом, полубольничном, что ли, полутюремном вроде, полудомашнем, так уж выглядел он, закутке, Пацюкова ждало настоящее откровение – было ему явлено, щедро, с открытостью полной, великое множество гуашей разнообразных на бумаге, холстов, картонов и рисунков, незамедлительно изумивших его, потрясших и пробудивших в нем любовь огромную к яковлевскому необычному творчеству, искреннюю, на всю его жизнь, такую, которая редко бывает, а если бывает – то навсегда.

Работа – дивная просто.
В коричневых, охристых,
с призрачной белесостью,
теплых тонах. По тону,
по строю, по духу –
какая-то скандинавская.

И решил он приобрести какие-нибудь работы.

Я показал ему на женский портрет, написанный маслом на плотном картоне:

– Посмотри-ка. Это шедевр.

И Виталий купил, прислушавшись к словам моим, этот портрет.

Работа – дивная просто. В коричневых, охристых, с призрачной белесостью, теплых тонах.

По тону, по строю, по духу – какая-то скандинавская.

И – музыкальная очень. Наполненная отголосками знакомых мелодий давних.

Почему-то Ибсен вдруг вспоминался. А с ним – и Григ.

Потом приобрел Виталий женский портрет – на ватманском, большом, упругом листе.

Отдаленно напоминал он жену Пацюкова, Светлану.

Метаморфозы всякие – начались чуть позже, потом.

Как только этот портрет, окантованный, под стеклом, стал висеть на стене в квартире Пацюковых в Марьиной Роще, Светлана, такая, как имя ее, светлица, светлоглазая, отзывчивая и простая в общении частом с друзьями, но при этом и образованная, со своим, всегда независимым, оригинальным мышлением, да еще и с какой-то особой загадкой, даже тайной, где-то там, в глубине ее крылатой и светлой души, не с каждым годом, а с каждым месяцем, и буквально с каждым днем, все больше и больше, стала, вот чудеса, походить на него, – таково было его мощнейшее воздействие, – и теперь трудно сказать, насколько далеко зашло это вхождение, в точном смысле этого слова, в образ, – хотя повидаться со Светланой, наверное, можно, при желании, и теперь.

Приобрел тогда же Виталий, войдя во вкус, ошутив азарт немалый, у Яковлева еще один, замечательный, очень сильный портрет – мужской.

Напоминал он – так считали когда-то знакомые – Маяковского. Что ж, похоже. Пусть и так. Но не только его.

Но друг наш общий, хороший человек и художник, Вагрич Бахчанян, убежден был, что это – его, Бахчаняна, Баха, так его мы все называли в прежние годы, портрет.

И ведь был он все-таки прав.

И когда я, под настроение, вспоминаю этот портрет, то мысленно говорю себе снова: ну точно, Бах!..

После визита Виталия Пацюкова к Володе Яковлеву – пришел черед и ответного дружеского визита: Яковлева – к Пацюкову.

Договорился вновь я с Володей. Привез его на такси, с Шелепихинской набережной в пацюковскую Марьину Рощу.

Вошли мы вдвоем в подъезд белого блочного дома.

На скрипучем и шатком лифте поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И дверь нам сразу же, широко, нараспашку, – открыли.

Яковлев как-то бочком, вперевалку, зашел в квартиру.

Встречали его приветливые и радостные Виталий со Светланой:

– Здравствуй, Володя! Наконец ты приехал к нам!

Виталий, широколицый, невысокий, но коренастый, отдаленно похожий на Лермонтова, и Светлана, действительно светлая, как и светлое имя ее, к яковлевскому приезду отнеслись будто к очень важному, а может быть, и важнейшему событию в жизни своей.

Помогли ему снять пальто.

Говорили ему хорошие, даже ласковые слова.

Звали его пройти в комнату, чтобы чайку с дорого попить, отведать приготовленных загодя сладостей, чтобы освоиться здесь, к обстановке привыкнуть новой.

Но Яковлев никуда почему-то идти не спешил.

Все топтался в прихожей крохотной.

Морщил свой лоб. И, похоже, о чем-то своем размышлял.

Пацюков подошел к нему. И сказал по возможности ласковой:

– Володя, пойдем-ка в комнату!

И тогда встрепенувшийся Яковлев как-то вдруг, неожиданно, резко надвинулся на Пацюкова.

Всем своим небольшим, почти детским, но крепким корпусом, всем своим смуглым, скуластым, лобастым, необычайным, с пылающими глазами проро-

ка или жреца, нервным, подвижным, словно что-то кричащим кому-то, словно к кому-то взывающим, то ли из гулкой, темной глубины минувших столетий, то ли из нынешней яви, воспаленным, слегка перекопленным, как античная маска актера, опаленным огнем таинственным, изнутри, из души, из сердца, озаренным каким-то сиянием непонятым, ему одному хорошо и давно известным, вдохновенным, живым, вопреки всем лишениям и невзгодам, гениальным, пожалуй, лицом.

Пацюков отшатнулся невольно, даже прижался к стене.

Володя к нему приблизился вплотную. Он то ли вглядывался, то ли вслушивался в него.

И вдруг, для всех неожиданно, не сказал, а громко и властно Виталию приказал:

– Поскорее давай мне бумагу! Карандаши давай!

Таши мне все, чем могу я прямо сейчас рисовать!

Пацюков, слегка озадаченный властным приказом Володиным, тут же ринулся в комнату – и мигом вернулся обратно, уже с листами бумаги и цветными карандашами.

Яковлев здесь же, в прихожей, прислонив лист бумаги к стене и почеркав по нему мягким карандашом, артистично и виртуозно, так, что была это явная маэстрия, как иногда говаривал Генрих Сапгир, мгновенно, в порыве стремительном, изобразил Виталия.

И протянул ему рисунок свежий:

– Держи!

– Ох! Спасибо тебе, Володя! – не вымолвил даже, а как-то шумно, с призывком, выдохнул, от такой вот негаданной радости растерявшись вдруг, Пацюков.

Яковлев улыбнулся довольно:

– Похож, похож! Я знаю. Смотри – это ты!

Пацюков совсем уж растрогался.

Обретенный рисунок – бережно и надежно к сердцу прижал.

Действо меж тем продолжалось и далее. Здесь же, в прихожей.

Присутствовали при этом Пацюков со своей Светланой и я с тогдашней моей женой Наташей Кутузовой.

Володя незамедлительно выхватил у Пацюкова еще один лист бумаги.

И воскликнул:

– Наташа! Встань здесь вот, рядом, теперь – ты!

Прислонил захрустевший лист плотной бумаги к стене.

Мелькнул в его легкой, быстрой руке – простой карандаш.

Несколько взмахов руки.

Несколько линий, штрихов.

И вот он – портрет. Наташа.

И действительно ведь – похожа.

Наташа. Она и есть.

Образ ее. То, что видел Володя – внутренним зрением.

Суть. Сейчас, разумеется.

Но, это важно заметить, – и на потом. На будущее.

– Дарю! – протянул Володя только что, на глазах у всех, сделанный им рисунок – юной моей жене.

– Ой, спасибо тебе, Володенька! – зашебетала Наташа.

Рисование – продолжалось.

Продолжалось – здесь же, в прихожей.

И только изрисовав, стремительно и вдохновенно, всю бумагу и раздарив рисунки, которые сделал он, Володя зашел наконец в комнату и уселся за накрытый, в честь гостя желанного, довольно скромный, конечно, да такой уж, каким получился, зато – от души, от всего сердца, со всеми возможными, по временам тогдашним, роскошествами, накрытый, скорее все-таки – созданный, искренне, вдохновенно, с угощениями разными вкусными, с чаем, с вином сухим, по традиции старой московской, молодыми супругами, вовсе не будничным – праздничный стол.

Сам Володя – был тоже праздником.

С тех пор и стал Пацюков самым верным поклонником Яковлева, ценителем и комментатором его грандиозного творчества.

Все мною выше названные, купленные Пацюковым еще в первый его приезд к Яковлеву, работы – позже, в дальнейшем, не раз выставлялись и репродуцировались.

И не только они. К ним вскоре прибавились и волшебные цветы и, музейного уровня, Володины прочие вещи.

Ну а я – был я рад тому, что простое вроде, обычное поначалу, почти деловое, поскольку связано было с покупкой работ Володиных, человеческое, замечу, потому что друг к другу все в наши прежние времена относились по-человечески, хорошее, плодотворное, полезнейшее общение быстро перерастало, да иначе и быть не могло, у Володи с Виталием, – в дружбу.

Как давно это было! И вроде бы – это было недавно, только что, да, конечно же, прямо сейчас, ну – вчера, или позавчера, и никак не позже, наверное, так хотелось бы думать нынче мне, седому совсем человеку, а на самом-то деле – когда-то, в сердцеvine эпохи минувшей, в незабвенные годы, когда были все мы еще, это надо же, молодыми, полными

сил, и сирени запах пьянящий, или запах листьев осенних, или снега ночного холод ветерок в окно приносил.

Марьяна Роша, дом чуть в стороне от шумной, прямой Шереметьевской улицы – стандартная, блочная, белая, в двенадцать густых, друг на друге, заселенных людьми этажей, знакомая всем нам башня, и квартира друзей, и встречи, столь частые, столь чудесные, и стихи мои молодые, постоянно звучавшие здесь, и глаза со слезами или с веселюю, быстрю искоркой, и беседы тогдашние наши – обо всем, что насущным в ту пору так привычно бывало для нас, и вино, и дымок сигаретный, и рассеянный свет полуночный, и бессонные, светлые лица, и летящие вкось над землей, а потом и уже напрямик, в глубь ночную, все дальше, все выше, сквозь пространство и время, не чьи-нибудь посторонние – именно наши – посреди бесчасья, в юдольном непростом пути – голоса...

Году в шестьдесят девятом он, к моему изумлению, вдруг заявился ко мне, в квартиру мою тогдашнюю, на пронизанной звоном трамваев и заросшей деревьями старыми, выходящей к мосту, за которым начинались Сокольники, улице Бориса Галужкина, в это пристанище всей московской, да еще и заезжей богемы, – возник предо мною, выбритый старательно, в свежей рубашке, в приподнятом настроении, – и заявил с порога:

– Алейников! Ты поэт настоящий. Я это знаю. И стихи твои – слушать люблю. Читать мне трудно, а слушать – это как раз для меня. Ты давай читай мне, а я буду слушать тебя и делать рисунки к твоим стихам.

Я сказал:

– Хорошо, Володя. Почитаю тебе стихи.

Яковлев:

– Только ты найди мне побольше бумаги, любой, какая найдется у тебя. И – чем рисовать.

Я сказал ему:

– Да, конечно. Постараюсь все это найти.

Бумагу нашел я – для пишущей машинки, формата обычного. Нашел я и карандаши цветные, несколько штук. И даже цветные мелки. Положил все это на стол.

Володя уселся за стол. Перед собой пристроил стопку бумаги, так, чтобы удобнее было брать ее и рисовать. Карандаши и мелки приготовил, по правую руку.

Посмотрел на меня внимательно. И сказал мне:

– Теперь читай!

И стал я читать стихи.

Володя, вперед подавшись, всем корпусом, весь – навстречу, само внимание, весь – предвестие рисования, вслушивался в слова, в их музыку, в ритмы их, вслушивался – как вглядывался, словно за слухом – было у него особое, внутреннее, самое важное зрение.

Потом начал быстро, потом – еще быстрее, потом – стремительно, в некоем трансе, для него, наверное, нужном, просто необходимым, в полете, в порыве, в движении непрерывном, все возрастающим, каждый миг, только так, – рисовать.

Все, что под руку попадалось, в ход немедленно шло у него, все в работе было – и с ним будто крепко дружило, само каждый раз его понимало – и карандаши, и мелки.

Он слушал мои стихи – и рисовал, рисовал, заполняя лист за листом, покуда не изрисовал всю стопку бумаги – и не на чем больше было ему рисовать.

На последнем листе он своим фантастическим, то ли детским, то ли инопланетным почерком, корявыми, крупными буквами старательно написал:

«Володя Алейников. Стихи.

Рисовал В. Яковлев».

Сгрудил листы бумаги – и протянул их мне.

На рисунках летали и пели небывалые, странные птицы, расправляя сильные крылья высоко, над грустной землей, в океанах, морях и реках быстротечных плавали рыбки, на лугах светились, как звезды, и свободно росли цветы, поднимались к небу стволами и ветвями всеми деревья, и мужские и женские лица галереей целой портретов из ненастного нашего времени, ну а может быть, из других измерений, или времен, или даже миров, смотрели, как-то пристально, с пониманием, дружелюбно, тепло – на меня.

Яковлев, тоже по-доброму, широко и светло улынувшись, посмотрел на меня – и сказал:

– Я как чувствовал все, Володя, так сегодня и нарисовал!..

Было это – в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел все на свете внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

– Володя! Ты, наверное, хочешь есть.

Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:

– Да, хочу.

Был я голоден. В годы бездомия я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни чело-

- Придется на спине что-нибудь рисовать. Парни дружно, громко заржали.
- Длинный, ты, наверное, художник? – вдруг спросил один из парней.

Ворошилов ответил:

- Художник.
- А меня нарисуеть? – спросил тот же парень. – Или слабо?
- А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. – Ворошилов махнул рукой, словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: – Отстань!
- Что? – вскочили все трое парней. – Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?

Ворошилов сказал:

- Отстаньте!
- Парни грозно придвинулись к нам.
- Ты, художник!
- И ты, борода!
- Схлопотать по мордам хотите?

Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее – в поисках пива. Шли – к пивному ларьку. А тут – на пути нашем долгом – за гвоздка. Трое пьяных парней. Задиристых. Молодых. И довольно пьяных.

Я сказал Ворошилову:

- Игорь! Нам придется объединиться.
- И ответил мне Ворошилов:
- Да, Володя! Объединимся.

В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, толстых, массивных ветвей.

Приподнял я с земли одну ветку – и шархнул по ней, с размаху, по наитию, видно, какому-то, резко, быстро, ребром ладони.

Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.

Отшатнулись парни от нас:

- Каратист!
- Ребята, атас!..

Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую: – Брысь!

И парней – словно ветром сдуло. Даже пиво свое забыли, вместе с воблой, на той скамейке, где недавно сидели они.

Ворошилов сказал:

- Володя, неужели ты – каратист?
- Нет, конечно, – ответил я. – Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. Просто – так получилось. И сам я не пойму – ну как это вышло?
- Значит, свыше нас уберегли! – Ворошилов голову поднял вверх – и что-то там разглядел. – Ну ко-

нечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.

Согласился я с ним:

- Это – ангелы.

Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало еще – за кем-то, неизвестно – кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших – такое – правилах.

Мы отправились дальше. Мы шли по столице – в поисках пива.

Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не считать.

Но в пивнушках – не было пива. И ходить нам – уже надоело.

И сказал тогда Ворошилов:

- Знаешь, что? Не хочу я пива.

Я сказал:

- И я не хочу.
- Лучше выпьем с тобой газировки. Без сиропа. По два стакана.

Я сказал:

- Газировки – выпьем.

Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый – по два стакана, шипучей, освежающей, чистой воды.

- Красота! – сказал Ворошилов.

Я сказал:

- Красота. Лепота.

Добрались мы – сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно призрачным снегом, машин, сквозь прибором звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, легкий шелест листвы, сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили позади, там, в недавнем, но все же былом, до знакомого всей московской, удалой, развеселой богеме дома, где обитал я тогда.

Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались внутри. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам после наших дневных походов по жаре. Отдышались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-то считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажег я. Включил проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.

Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной приоткрытой, проникли в наши, молодые еще, сердца, в души наши, вошли в сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы,

в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне приходится – через годы – воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать – и прозревать...

Однажды зимой, в январе, встал Ворошилов на постой, временно, ненадолго, у одной своей знакомой.

Начал там рисовать – и увлекся. Время для него сместилось. Где ночь, где день, он уже не разбирал. Слово в другом измерении находился. Только и делал, что работал. Ни о каких там амурах и речи быть не могло. Просто – в очередной раз дорвался художник до возможности, до смешного простоя, – в домашних условиях, у хорошей знакомой, любящей искусство, поработать. Вот он и потрудились на славу.

Я приехал к нему в Медведково – и ахнул. Куда ни повернешься, куда ни шагнешь – везде были Игоревы работы. Да какие! Нередко – шедевры. Живопись в основном.

Работы горами лежали на полу, под ногами, свалены были возле стен, кое-какие – прикреплены кнопками на стенах, валялись в прихожей, на кухне, заполняли все жилое помещение этой однокомнатной квартиры.

Посреди них, босиком, расхаживал довольный Ворошилов.

Он показывал мне свои создания – вот ведь какая счастливая случайность: хотел здесь просто переночевать да, возможно, немножко порисовать, да вдруг как пошло, и остановиться уже невозможно было, и он двигался вперед, рисовал и рисовал, благо хозяйка подсобила и с красками, и с бумагой, и ничего искать не надо было, все оказалось под рукой, и никуда уходить не надо было, в ночь, на холод, а можно было сидеть себе здесь, в тепле, и вкалывать, – и вот он, результат.

Ворошилов делал широкий жест рукой – и указывал на то, что он здесь наработал.

Увиденное не просто впечатляло. Скорее, оно изумляло. Озадачивало. Потрясало.

Это какая же творческая энергия должна быть у человека, чтобы единым духом, без всяких перебивов, за несколько дней, столько всего понамалять!

Картинок хватало бы на несколько больших персональных выставок.

Ворошилов расхаживал среди них, как пастырь среди своего стада. Но напоминал еще и доброго волшебника, столько чудес нежданно сотворившего, – только вместо волшебной палочки была в его

руках просто кисть. Впрочем, наверняка – волшебная, сомнений в этом быть не могло.

Ворошилов выразил желание купить пива.

У меня было несколько рублей. Мы отыскали две пустых трехлитровых банки, закрыли их пластмассовыми крышечками. Сунули наши банки в авоськи. Вот теперь можно было и отправляться на поиски пива.

Мы накинули свои пальто – и вышли на улицу.

И тут-то я подумал: ну зачем нам нужно это пиво – сейчас, зимой? Но было уже поздно. Коли решили идти за пивом – его следовало еще и найти. Не так-то просто было сделать это в прежние годы.

На улице стоял мороз. Да еще какой! Лютый, и только. Январский. Градусов двадцать пять, наверное.

Вся округа, все Медведково, казавшееся нам тогда глухоманью, дальней, совершенно неизведанной московской окраиной, было завалено снегом. По обе стороны от расчищенных без устали работающими дворниками дорожек на тротуарах возвышались монументальные сугробы. Но снег продолжал сыпаться сверху крупными хлопьями. И на тротуарах ноги вскоре увязали в нем по щиколотку, а потом и почти по колено.

Где искать пиво в этом занесенном снегами Медведкове?

Мы с Ворошиловым шли и шли, наобум, наугад. Передвигались от квартала к кварталу. Расспрашивали прохожих – где здесь пивные ларьки. Подходили – и очередной ларек оказывался закрытым. Приходилось топтать дальше.

Мы уже совсем устали и замерзли, когда увидели наконец впереди открытый пивной ларек.

Само собой, стояла к нему немалая очередь. Посреди густого снегопада, облепленные снегом, люди напоминали оживших снеговиков.

Каким-то образом удалось нам проникнуть поближе к раздаче пива. Кажется, Ворошилов проникновенно обратился к какому-то парню, доброму на вид, и тот пропустил нас без очереди.

Мы налили в наши трехлитровые банки столько пива, сколько в них поместилось.

Взяли себе по кружке – и отошли в сторонку, за ларек, чтобы не спеша выпить пивка.

Загадкой оставалось – как мы его, ледяное, сумеем выпить на улице, на таком морозе?

Но об этом старались мы не думать.

Сейчас важно было – совершить ритуал. Этак своеобразно отметить у незнакомого ларька, выпив по кружке мутного пива.

Мы встали за ларьком. Пригубили пива.

И вдруг... Друг нам перехотелось пить.

Мы увидели – жуткую картину.

За пивным ларьком высился здоровенный сугроб.

Прямо в этом сугробе, на снегу, сидел пожилой мужик. Горло его было обмотано бинтами. Из-под этих грязных бинтов, прямо из горла, изнутри, торчала какая-то трубка.

Мужик молчал. Но время от времени издавал, изнутри, сквозь эту торчащую наружу трубку, какие-то звуки – всхлипывания, всплески, бульканье, хрипы, шипение.

Мужик, сидя в одиночестве, чего-то с нетерпением ждал.

И вскоре к нему подошло еще двое мужиков. У них в руках были кружки с пивом. Они поставили свои кружки на снег.

Один из них достал из-за пазухи бутылку водки. Быстро открыл зубами пробку. Достал из кармана пустой стакан. Привычно налил в стакан нужную порцию – такую, какую всегда наливали, распивая на троих.

Потом, с водкой, налитой в стакан, этот мужик подошел к сидевшему в сугробе пожилому мужику.

Тот сделал нетерпеливый жест рукой – ну, давай, мол, давай, скорее!

Мужик со стаканом поднес этот стакан прямо к трубке, торчащей из-под бинтов, изнутри, у сидевшего в сугробе пожилого мужика, – и стал аккуратно переливать водку из стакана прямо в трубку.

Мы с Ворошиловым с ужасом смотрели на это занятие.

Наконец вся водка из стакана была перелита в трубку.

Мужик с забинтованным горлом побагровел, слегка оживился. Опохмелился, стало быть. Надо полагать, водка попала прямо в желудок. Горла, скорее всего, у него не было. Наверное, было оно вырезано. Посему приятель-алкоголик и лил ему, алкоголику, водку прямо в желудок.

Мужик с забинтованным горлом говорить ничего не мог. Он только благодарно хрюкал.

Его приятели в момент опорожнили, по очереди, стакан с водкой. Тоже оживились. Закурили. Присоединились к приятелю. То есть уселись рядышком с ним в сугроб. Всем троим стало им хорошо. Все опохмелились. Все возвращались к жизни. Теперь они сидели в сугробе и прихлебывали из кружек свое пиво. И даже пива немного умудрились налить в трубку мужику с забинтованным горлом.

Какой жуткий символ!словно сама эпоха, с вырезанным, забинтованным горлом, уже без голоса, без

речи, но жаждущая алкоголя, а с ним и некоторого забвения, сидела в сугробе, на московской окраине, посреди снегопада, в пору середьзимья, – вот здесь, перед нами!..

Через силу выпили мы с Ворошиловым пиво – и даже не пошли, а побежали по снегу, поскорее, поскорее, в тепло, в квартиру, где можно будет, до прихода хозяйки, посидеть на кухне вдвоем, покалякать, – ну а потом собираться и уходить, мне – домой, Ворошилову – куда-то, а куда – он еще не решил, да и не все ли равно было, куда идти теперь? На дворе зима, и холодно, и мороз вон какой сильный. Одно утешение – что хорошо поработал.

Было самое начало года – и впереди ждало неизвестно что, и зачем загадывать, когда, быть может, все сложится как-то само собою, достаточно хорошо, для того, чтобы жить и работать.

Снег шел и шел, и мороз все крепнул, и сплошная белизна вставала перед глазами, заполняя видимый мир, а с ним и то будущее, которое ждало нас где-то там, за снегами, за холодом, далеко, далеко, впереди...

А однажды Ворошилову так надо было похмелиться, что куда угодно пойдешь, лишь бы только добыть спиртное, или денег достать немного, и купить магазинное пойло, заглотнуть его и спастись, – вот он и пошел к Кабакову, а где мастерская – забыл, помнил только, что на чердаке всем известного, несуразного, не вполне московского с виду, чужестранцем стоящего дома на Сретенском бульваре.

Ничтоже сумняшеся, забрался он из мрачноватого внутреннего двора по наружной пожарной лестнице на крышу, нетрезвый еще, и пошел искать Кабакова.

А на этой крыше лет семьдесят жили полчища котов и кошек, никогда не спускавшихся на землю, и очень они мешали Игорю в его хождении по опасным высотам, но Игорь старался по возможности меньше внимания на них обращать, а сконцентрироваться только на одном-единственном: поисках каких-нибудь примет кабаковской мастерской, где, он твердо верил, застанет он Илью, который его, конечно же, выручит.

И он нашел-таки Кабакова, увидел его в окне, тот принимал иностранцев, кажется – чехов.

Игорь постучал в оконное стекло и очень вежливо сказал:

– Илья, займи, пожалуйста, рубль!

Гости кабаковские обомлели, ибо сверху, с неба, нависала над ними громадная фигура неведомого

им, весьма колоритного человека, выразительно показывавшего палец: всего один рубль нужен!

А Кабаков тоже изумился, но рубля почему-то не дал, хотя мог бы вполне, за такое-то ворошиловское геройство – найти его, пройдя по крыше высоченного и многокорпусного, дореволюционного еще дома, постоянно рискуя поскользнуться и свалиться вниз, да еще и среди мечущихся вокруг, путающихся под ногами и орущих на разные голоса высотных котов и кошек, – и что им двигало – непонятно, поскольку, выдав рубль отважному художнику, он вовсе не обеднел бы.

И пришлось Ворошилову, несолоно хлебавши, без рубля, о котором он так наивно мечтал, обратно идти по крыше, слезать вниз по узкой, ржавой лестнице, – и все это, не забывай, было с похмелья, и подвиг его по добыче заветного рубля в одиночестве был покупившимся на доброе деяние Кабаковым принижен, и это его огорчило безмерно, да все же сумел он преодолеть эту горечь, стерпел, проглотил обиду, сжал зубы, сумел собраться с силами, чтобы с высоты почти поднебесной, надкабаковской, спуститься на землю московскую.

И слез он по лестнице, и оказался в глухом, с четырех сторон закрытом высоченными корпусами, пустом дворе.

И ощутил он тогда в душе даже не грусть, а горечь.

И тогда, ведомый чутьем, перешел он дорогу, и теперь уже не поднялся, а спустился вниз, в подвал, в мастерскую к Эрнсту Неизвестному, и обратился к известному скульптору со своим наболевшим вопросом об одном-единственном, необходимейшем для опохмелки, рубле.

И тот, совсем другой человек, нежели Кабаков, сразу все понял.

И в ужас пришел, когда Ворошилов поведал ему о недавнем своем подвиге с походом по крыше среди кошачьих стай и поисками окна в мастерской кабаковской.

И выдал Эрнст Ворошилову не просто рубль.

Нет, он, мужик бывалый, сам хорошо знающий, каковы некоторые состояния и как в них бывает порою тошно хорошему человеку, и особенно художнику, поскольку сам он был, как известно, человеком пьющим, нередко и крепко пьющим, что удивительным образом не отражалось никогда на его фантастической работоспособности, – он, Эрнст, человек широкий, до глубины души пораженный и ворошиловским видом, и кратким его рассказом о тщетных поисках столь важного для поправления здоровья одного-единственного рубля, дал Ворошилову денег, искренне,

от души, по-дружески присоветовав не экономить на себе самом, а опохмелиться по-человечески, по всем правилам, так, как он обычно это делает.

Но прежде всего Эрнст сделал самое важное: он здесь же, на месте, в своей подвальной мастерской, налил, щедро, без всяких лишних движений, бражки собственного изготовления, благо бражка сия, в немалом количестве, в нескольких десятилитровых бутылках, мутноватая, да зато крепкая, надежная, с плавающими за стеклом размякшими апельсиновыми и мандариновыми корками, постоянно была под рукой, на всякий случай, и сейчас вот очень даже пригодилась, для того, чтобы выручить Ворошилова, которого Эрнст очень ценил как художника и который был ему всегда симпатичен, и по-человечески, и как земляк, тоже, как и сам он, с Урала, – да, щедрым, точным, привычным жестом налил Эрнст смущенному и разволновавшемуся Игорю один стакан бражки, потом другой, а потом и третий, чтобы наш герой прямо при нем похмелился, поправил, хоть немного, для начала, здоровье, успокоился, отдышался, – да и сам с ним выпил, – и только потом уже, позже, когда оба они и выпили, и символически закусили, и успели поговорить, и взвинченность ворошиловская прошла, схлынула, а на смену ей пришло спокойствие духа, лично, воочию убедившись в том, что он спас Ворошилова, Эрнст разрешил ему покинуть свою мастерскую и благословил на дальнейшее выздоровление.

Показательно, не правда ли?

Об этом случае позже Ворошилов рассказывал мне с изумлением – ну что его понесло тогда на крышу? и что за наивное желание – обрести заветный рубль – завладело им тогда? – и что за надежда, тоже наивная, на кабаковское понимание ситуации, возникла в его душе? – сам он толком не понимал, почему это происходило.

Но зато об Эрнсте Неизвестном – и его понимании ворошиловского состояния, и его мужской солидарности с ним, и его человечности – говорил Ворошилов не единожды с восхищением, с уважением, с благодарностью.

Да и сам Эрнст, вскоре после этого случая, сказал мне, что хотел бы повнимательнее посмотреть ворошиловские работы.

И я не поленился принести ему некоторое количество картинок.

И Эрнст Неизвестный внимательнейшим образом, посерьезнев, собравшись внутренне, как-то решительно, сразу же войдя в ворошиловский мир, углубившись в него, сосредоточившись, изучал Игореву живопись и большую стопку графики.

И потом сказал мне:

– Какой художник! Да, Ворошилов – очень талантливый человек. Невероятно талантливый человек! Я так рад за него. Ты обязательно это ему передай, Володя!

– Конечно, передам! – сказал я.

– Пусть Игорь всегда заходит ко мне! – сказал Эрнст. – Я ему всегда буду рад.

И я передал эти слова Игорю.

Он вначале смутился. А потом весь расцвел.

Вот ведь как важно иногда слово, сказанное вовремя собратом по искусству, да еще и человеком хорошим.

Однако слишком часто заглядывать к Эрнсту Ворошилов стеснялся. Деликатность его срабатывала.

Но встречи у них бывали, конечно. И хорошие встречи.

И о поступке Эрнста, о том, как он выручил Ворошилова, поневоле, от отчаяния, по счастью – ненадолго, да все же в свое время ставшего таким верхолазом, Игорь никогда не забывал.

...В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом конце ноября, полагаю. Однажды вечером.

Ворошилов зашел в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, с видом победителя, с грудой работ на картонах, в обеих руках, – и швырнул их на пол, сказав, приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:

– Выбирайте!

Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечерок скоротать, стихи почитать, большая компания.

Все – как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда принесенные Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! – и давай выбирать.

Я сказал:

– Что ты делаешь, Игорь?

Ворошилов:

– Пусть выбирают!

Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.

Я сказал:

– Человек – трудился. Что ж вы – так? Налетели, как хищники, на картинку – скорей, скорее, ухватить для себя, урвать!..

Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, – и прекрасно, и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят

о своем, картинку, между делом, с видом прожженных знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все – с претензией на свою особенность, все – с самолюбием, с гонором, с хваткой, на проверку, быстрой и цепкой.

И тогда я сказал всей компании:

– Расходитесь. Мне надо работать.

Поворчав, компания стала расходиться.

Сказал я Игорю, громко, твердо:

– А ты – оставайся.

Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало просторней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы все проветрить. Сигаретный дым, как туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл холодильник. В нем было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:

– Игорь, где ты? Иди пить чай.

Ворошилов, с книгой в руке, – это был им любимый Хлебников, – длинный, тихий, в домашних тапках, в брюках, красками измазанных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, старой рубашке, задумчивый почему-то, пришел на кухню.

Пили чай мы. Вдвоем. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых тополя, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них – мой, а другой – ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он искал вначале глазами, в оконную щурясь хмарь, эти старые тополя.

Эти старые тополя – сохранились. Во всей округе – все снесли, деревья спилили, понастроили новых домов. Только два этих старых тополя, мой – один, другой – ворошиловский, словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, – стоят. Все на том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели грустных лет, овеванных славой нынешней. И листвою – сквозь боль – шелестят...

